

два рассказа

*Айдар
Сахибзадинов*

Прозаик Айдар Сахибзадинов родился в Казани в 1955 году. Точнее будет сказать, что родился он в деревне, которая находится посреди города и называется Калужской горой. Кто здесь бывал, тот знает, что это самая настоящая классическая деревня с избушками, наличниками, палисадниками, в которых по весне сирень шумит, а по осени золотые шары качаются. Под ногами куры снуют, а в голубом небе белоснежные голуби эллипсы выписывают! Поэтому многие рассказы Айдара про деревенскую жизнь навеяны Казанью, где потихоньку тает его избушкой островок. Где-то внизу шумит мегаполис, озаряя тёмное небо всполохами суматошных огней, а здесь тихо-тихо, только слышно, как бьётся о железное дно струя воды из колонки, и кто-то звонко колет поленья для баньки... Айдар прожил здесь лет сорок, ходил-курил, пил-трезвел и даже работал (как сказано в биографии к его первому сборнику прозы «Ни в селе, ни в городе», вышедшему в Казани в 1993 году): «сварщиком, грузчиком, бетонщиком, плотником». Излишне говорить, что для писателя всё это только подработка, а главной его работой остаётся всё то же самое – писать! Но как-то, достав свой новый костюм и собрав чемодан рукописей, Сахибзадинов вдруг отбыл в Москву, чем очень всех удивил – уж очень он вжился в эту Калужскую гору, очень с ней сросся своей сутулой долговязой фигурой в телогрейке и вечных «прощайках». Уехал, как сгинул, но иногда, нет-нет, да и пришлёт свои рассказы про... жизнь в деревне, что стоит в самом центре Казани

Неладный

Далеко в Сибири, в излучине Енисея, под горкой лежит деревня. В той деревне – подворье Семёна Лукича, а на подворье у обрыва кривится баня. В той бане парились все поколенья. Выходили с тёмного жару на свет остроплечие старики с ребристыми, как у отроков, боками, – стыдливые, косолапя, прикрывали рукой усохшие пахи и крякали. И краснокожие старухи с выкрученными, как бельё, ляжками, с распущенными, как у ведьм, сединами на плечах, – полуобморочные, с тяжелыми взорами, садились на корточки под яблоню и, глядя в комель, переживали сердцебиенье. Выбегали из жарких недр сиськастые женщины с подкопчённым мяском на боках и, визжа, обливались ключевой водой. Как красные драконы, вылезали, рычали мужья, дымили бурыми спинами и лили в горло из ковшей крепчайший квас...

Всем было тут счастье!

Теперь этой баней не пользуются. Она осела, обросла бурьяном. Тёс сгнил, уже не починить, не поправить, так и уйдёт в землю, – так и раскопают её через тысячу лет археологи. Отроют чугунный чан, очистят от грязи, и, усевшись вокруг, подопрут подбородки в исторических мечтаниях...

Вот и вечер. Семён Лукич, в ушанке и ватнике по сентябрю, с магнитофоном в руке, спускается с крыльца на подворье. Солнце садится за речку, в ольховый кустарник, и багровый зрак его игольчато просвечивает сквозь плетень над обрывом. На середине двора Лу-

кич останавливается, белесые глазки задерживают взгляд на калитке, он всматривается... и вздрагивает. Там, под сенью листьев, напыленная на столбец, шпионски хоронится мужская войлочная шляпа.

– Ед-дрит! – Лукич дергается в старческом недоумении с места, настигает калитку и, отодрав чуть ли не с мясом злополучную шляпу от столба, кособоко изловчившись, запускает её, как смердящую тарелку, на самое дно оврага. И тотчас слышит сзади себя веселую дробь: тррри-и-и!

Внук Васятка, помочившись с крыльца на поленницу, скалит зубы на причуду деда.

– Цыц, сопливыш! – Лукич краснеет, суетится, угрожающе приседает, будто за хворостиной. Васятку с крыльца мигом сдувает.

– Мам, он опять в баню пошёл! – слышится звонкий голос ябеды из открытых сеней.

– Отстань от человека! – отвечают ему.

– Во, едрит! – качает головой Лукич, шумно выпуская воздух большим прожилчатый носом. Он шагает в глубь сада, к бане.

У крыльца опять осматривается, толкает дверь и входит внутрь. В бане тихо и сумеречно, пахнет сыростью, из маленького оконца брезжит свет. Лукич проходит к столику как раз у оконца, занавешивает его, достает из кармана спички и зажигает свечу. Обнажив мягкую, в ямках, лысину, плоско гладит по

бокам остатки волос, сам пристраивается в угол на замытую лавочку, шапку кладёт рядом. Долго сидит неподвижно...

Баней уже не пользуются, но она сохранила печной дух, старый, прогорклый. Иногда Лукич её даже подтапливает. Пол тут сух, стены и потолок пробиты копотью, защищены от нашествия плесени. На стене пылятся рыжие венники, старая шайка, да свисает вдоль окна темно-красное полотно, похожее на ковёр. Если взглядеться, то видно короткое древко, прибитое вдоль притолоки, и тогда становится понятно, что это кумач, да, именно тот, что с серпом и молотом.

Семён Лукич прадед. Но ещё крепок и, как прежде, упрям, жизнедеятелен. Он читает книги, научные журналы, списанные в макулатуру из местной библиотеки, хотя мало что там понимает. Иные старики по лавкам бока греют, да на погостах лежат. А он, неладный, летом колет дрова на две печи, зимой расчищает снежные заносы на подворье.

Лукич воевал в японскую. Немцев не видел ни живых, ни мертвых, ни пленных, хотя по Сибири их трудилось в лагерях множество. Не было у него на немцев зла. А в пятидесятых, когда работал в Казахстане, подружился с двумя ссыльными немцами. Это были два Ивана: Йоганн Безганс и Йоганн Белиц, выходцы из-под Дрездена. Оба хорошие пьяницы. Ваня Безганс был работника, но пил хлеще соотечественника и самого Лукича. И на следующий день признавался, что его провожали с попойки домой, взяв под руки, какие-то друзья с губными гармошками, сквозь тирольские шляпы которых торчали рога. Славный был малый! На его-то сестре, чёрноволосой да белолицей Ане-Анетте, Семён тогда и женился. Родня была против, всё же немка, воевали ведь с постылыми, но он не послушал. И познал житейское счастье! Славная была девушка. Родила ему сына, его тоже называли Ваней. Но не долго длилось счастье. Вышел как-то

четырёхлетний Ваня поиграть на улице, сошёлся с соседским карапузом и пошли они играть на горку, что над речкой. Там строители сооружали мост, навалили гравий у берега. Пошли поиграть и пропали. Их искали сутки, утром стали нырять. Выловили со дна детскую панамку. Горько рыдал Семён, чуть с ума не сошёл. А тут и Аня заболела, слегла и, недолго пролежав в больнице, умерла. И проклял Семён Лукич белый свет. Бога проклял!

«На что он нужен! – кричал он. – Зачем он сгубил мальчика? Замучил Аннушку!» – «Смирись, говорили ему, видать так угодно. Господу нужны ангелы, чистые, безгрешные души...» – «Ангелы!.. А мне они не нужны были!? Кто он такой?.. Знать его не хочу!»

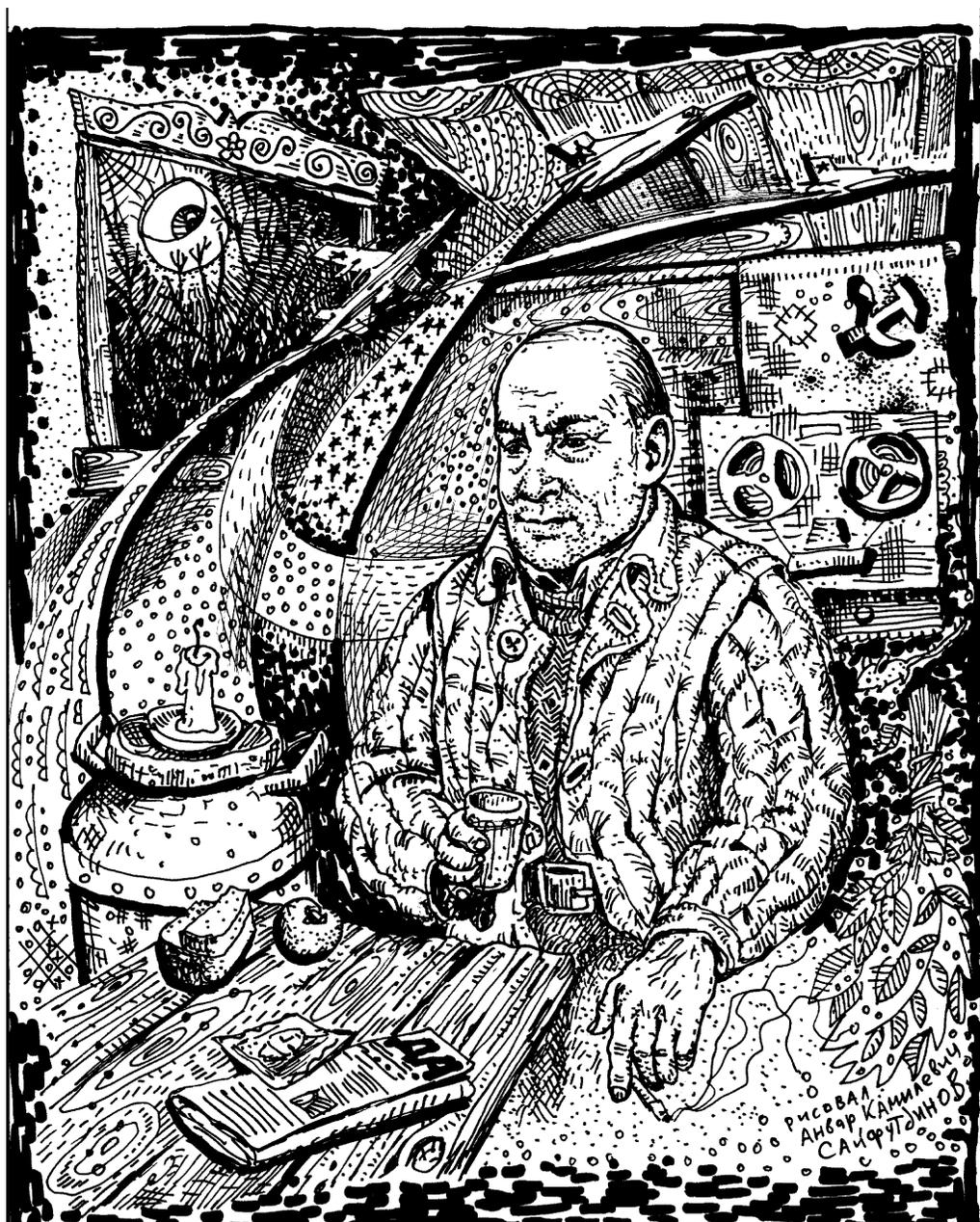
Так и прожил Семён Лукич всю жизнь без Бога.

После трагедии матушка зазвала его обратно в Сибирь, со временем женила на кривой девушке Любе. Та родила ему трёх девочек, затем пошли внуки, а теперь уже бегают правнуки. Так прошла жизнь.

Лукич достаёт из-под стола чекушку, стакан, отодвинув занавеску, берёт с подоконника и ставит на стол пожелтевшую на осеннем солнце помидорину, солонку да сухую горбушку хлеба. Опустошает Лукич бутылку не сразу. Выпьет дозу и насупится, молчит натужно, трёт рукой подбородок. Выкрикнет вслух иногда слово или фразу. И опять тишина. Глаза красные, нос картошкой, порист и пупырчат. Нынче что-то с ним случилось: как-то вдруг открылось ему прошлое. Да так явно, что спасу нет! Он ходит сюда, как на сеанс спиритической магии. Память же у него отворило после инсульта. К нему вернулись немецкие фразы, японские слова, казалось, в памяти навсегда умершие.

Постепенно, после второй, он обретает красноречие и начинает разговаривать с фронтовыми товарищами, с Аней и спорить с самим Богом.

– Вот и зять у меня, – говорит, пьянея, Лукич, – мою водку на прошлой



неделе спёр. Да ещё жилит. Я говорю: там полчекушки было, а он: «Где это там?» – и осёкся, лапоть! И смотрит с презрением. Я ему любовь на щекотливый хвост накручивать не стал. Чего он возле бани крутился?

Внучка его и отдала. Не знаю, моя,

не моя чекушка-то. Знают, я шуток не люблю.

Лукич покачался на лавке.

– А ведь семьдесят лет дураку!.. Дочка моя, его жена, уж умерла... Жениться собрался. Даче упал в сарае: «Дед, подыми! Хандроз!» Поднял его,

как младенца, отряхнул. А он и говорит: «На кой хрен, говорит, тебе знамя?»

Лукич подышал в сцепленные пальцы рук, налил в стакан ещё, выпил.

Надо! Аль не догадался? Я его в гроб велю положить. А пока беречь буду. Гладить, как любимую бабу на ночь. Ты не служил, не знаешь. Нет знамени, нет полка. Есть знамя, ковыль в богатырей превращается. И не фокусник перед тобой, а я, Семён Лукич Нелямзин! Полковой разведчик.

– Говоришь, я в обозах скитался? Иншульдиге ди битте! Попал в точку! А кто тогда против самураев работал? Это потом я – по обозам-то. После ранения. Тогда и война-то уже кончилась. И орден у меня есть. Валькин сын потерял, бедолага... Но у меня документ имеется. Да.

Ребятишек погибших вижу. Товарищей... Лукич замолкает. Слово «товарищ», нынче забытое, жжёт ему сердце...

– Где они, в какой земле? Они теперь мне судьи, а не ты ... верховный прокурор! Оттого и душа болит. Друг у меня был, Алёшка. Мальчик совсем, сапоги хлябают, на фотокарточке одни уши да кадык на худой шее. А вокруг дым да смерть. Приснился он мне намедни. Стоит руки по швам, как тростинка, смотрит на меня, и глаза у него будто от ветра слезятся. И говорит мне: «Что это ты, говорит, Семён Лукич, позволяешь такое на белом свете. Жизнь непотребную развел, гадскую. Разве для того мы кровь проливали и по фронтам легли, чтоб так народ обижали?» А я стою ни дать ни взять, и так мне радостно самому-то, что я его встретил, так мне плакать хочется! Шагнуть бы, потрогать, а не могу! Ноги как приросли. Говорю ему: «Здравствуй, Алёшенька, милый! Ты мне пятьдесят лет не снился, а вот пришёл! Спасибо, говорю. Я тебя тоже всю жизнь помнил». Говорю это, а на вопрос ответить не могу. А ему и ответа будто не надо. Явился, чтоб только сказать. Озадачить. Видать, уже и мёртвым тошно стало.

Лукич налил в стакан, но не выпил.

– Вся жизнь насмарку! – Он провёл рукой по лицу, будто снял паутину. – Фер-флюхте!

Сплюнул под стол, а после осушил. Вытер шершавой ладонью рот. Молчит, ему одиноко, ему очень горько и одиноко. Он ждёт этого момента, когда горше станет. И это приходит всякий раз, когда душа созревает.

Тогда он опускает под лавочку руку и достает магнитофон. Старенький, китайский, отданный ему за ненадобностью одним из внуков. Подключает к розетке, отматывает назад кассету. Пластиковая кассета нехотя, с трением набирает скорость – всё быстрее и быстрее болтается, как тележное колесо на разболтанной оси. Вдруг щёлкает кнопка «стоп». Лукич включает воспроизведение, поднимается в рост, одёргивает ватник, опускает руки по швам.

Тихо. Стучит-стучит истёртое колёсико. За окном темно, и щемит в сердце...

И вдруг притихшую баню, будто из всех щелей и недр её выйдя, оглушают сильные и торжественные звуки! Это гимн Советского Союза. Музыка мощная, благородная. Она наполняет грудь, всё существо, вызывает дрожь в теле и во всём окружающем. И кажется, переживают этот озноб даже пауки и букашки в щелях. Горячие слёзы текут по щекам Лукича. Нет, он не был коммунистом, и партию не жаловал. Ему больно за Родину, за хороших людей, за тех, кто терпит, и за тех, кто погиб. Но есть правда на земле! Есть надежда! И об этом эта музыка.

Лукич плачет. Ему ещё больно за древний город Дрезден, жемчужину Европы, родину Ани. Его разбомбили англо-американцы. Ни за что, ни про что. Это был зелёный город, без военных заводов, одни госпитали. Бомбили зажигательными, с четырёх сторон, так чтобы пламя выжигало кислород, и у людей сгорали лёгкие. Бомбили так чтобы уцелевшие бежали в городской парк, в ловушку, и там устроили новую мясорубку. А когда обезумевшие люди, дети, женщины, медсестра с ранеными на

носилках, скопились на берегу Одера, их добила третья волна бомбардировщиков. Лукич считал, он знает, что количество погибших в Дрездене превышает количество жертв в Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых. И Лукич каждую ночь принимал меры.

У него есть самолет, суперистребитель с лазерным оружием. И когда в чёрном небе идут сотни Б-16, мерно гудя от тяжести смертоносного груза, пуская от двигателей голубоватые огоньки, появляется этот его истребитель. И Лукич отводит беду. Он бьёт в

бомбоотсеки так, чтобы от мощного взрыва погибал соседний бомбардировщик, иначе не успеть, их очень много! И под этот победный грохот, уставший от сражения, засыпает.

Уже впустую крутится колёсико. Семён Лукич выключает магнитофон, сматывает шнур и вылезает из бани. На дворе ясная ночь. Старик шагает в сторону дома, коренастый и упрямый. Его хорошо видно сверху. И кровавая луна, словно божье око, недовольно смотрит на него через рогатку кленовых прутьев – будто ловит плешь старика на прицел...

Кузен

Лёнька Бочков, сельский книголюб, был болен. Дядя Вася, грузчик сельпо, накатила ему с похмелья бочку с сельдью на ногу. И как кричал пострадавший: «Алкаш, опохмеляться надо! Клешня-то вдребезги!» – ступня на самом деле дала трещину. И теперь Лёнька целыми днями валялся с загипсованной ногой в саду на выгоревшей раскладушке, слюнявя страницы старинных романов.

– Вот жили, гады! – Восхищался он. – Князья, бароны всякие... Устриц жрали, в каретах катались... А любили-то как?! Всё, собаки, в кузин влюблялись. И слово-то какое... Кузина! – Сладко протянул Лёнька и колыхнул дыханьем рваную паутинку над головой.

«Ку-зи-на!», – тонко пропело мутное стекло в облупившейся раме. И Лёнька, чуть не прослезившись от обилия чувств, решил в кого-то влюбиться. Но как он ни старался, щуря глаз, как портной, разодеть своих кузин в роскошный дворянский наряд, – все они представлялись то в гумне, то в телятнике с пыльными красными лицами. И вдруг вспомнилась Алька, белолицая сдоба,

в тёмном маке конопушек – десятая водица на жидком киселе!

– Алина-кузина!... – Лёнька впрягся в костыли и заковылял вон из сада.

Дома он перерыл гардероб, достал из чулана банку вишневой настойки, припрятанную к поминкам бабки Бочковой. Вскоре в новой белой рубашке, со стаканом в руке, Лёнька, подпираемый костылём, стоял перед треснутым трельяжем.

– М-м-м... – Растираженная в три экземпляра прыщавая физиономия, фасонисто шевельнула ушами. – Князь Бочковский!

Стакан был залпом осушен с гордым запрокидом головы. – Карету герцогу Деманикорду! И Лёнька заспешил, смешно подпрыгивая, по улице. Однако у первого же переулка пришлось нырять в кусты: на колонку шла Манька. Но дело было не в пустых вёдрах... Здоровенная Манька, модница с вихлястым задом и ярая искательница жениха, именovala себя «просто Мария». Но за её непоколебимую крейсерскую мощь Лёнька прозвал её Империей.

Однажды, загибаясь с похмелья, он попросил у неё империальчик на сель-

маг. И получив отказ, пролепетал ей ссохшимся от жажды языком проклятие в виде того, чтоб не видать ей женихов до скончания века, а там уж кого бог пошлёт: хроменького, косенького... И то спасибо!

Манька ответила обидчику высокопробной звонкой оплеухой так, что Лёнька улетел в палисад, и у него потом три дня звенели в ушах империальчики. И теперь, чем дольше не выходила Империя замуж, тем страшнее становились встречи с нею.

...Выбравшись на другом конце просшего оврага, Лёнька понял, что точно срезал путь: аккуратно впереди него стоял Алькин дом. Прокостыляв мимо петуха, ошалевшего от вида необычайной конструкции, Лёнька смело шагнул в сени. Алька, шлёпая по полу мокрой ветошью, вырुливая задом к двери. Лёнька хотел было для хохмы поддеть её коленом, но вспомнив, как в давние времена поступали в подобных конфузах, культурно кашлянул.

– А, инвалид!... – раскрасневшаяся Алька выпрямилась, вытирая запястьем испарину со лба.

– Здравствуйте, Алина.

Алька смерила его взглядом... – Жарко... – вздохнула она и, оттянув через платье резинку трусиков, хлопнула себе ею по брюшку, присела, сделав платьем вентиляционное «па».

Высокие чувства Лёньки были этим чуточку оскорблены.

– Чё пришёл-то?... – Спросила Алька, довольно осматривая свежевывытые блестящие полы.

– Я это...

– Ну?

– Дай рубль!

– На пиво? – Она сложила в кармане кукиш, но тут же улыбнулась: – Иди у Маньки проси...

– Да не! Я это... скучно, вот и пришёл. Но я ужоу!

– Куда?

– Искать верблюда, пока лежит, а то убежит.

Лёнька обиделся. У него четче обозначились веснушки на вспотевшем носу. Он посмотрел девушке прямо в глаза.

– Алька, знаешь что...

– Чё?

– Ты – кузина.

– А ты – Кузя!

– Дура! Я – кузен! Так раньше родственнички назывались. И, между прочим, любили друг друга. Книги надо читать.

– А я читаю. Чехов, «Каштанка», укуси меня за ногу.

– Н-ну!... – В нетерпеливой беспомощности Лёнька надавил на костыли. – Все анекдотики травишь... – Тут он вспомнил свои чувства на раскладушке, когда чуть не заплакал от предвкушения большой любви. Глаза Лёньки выразили страдание.

– Ты что, Лёнь, в туалет, что ли, хочешь?

– Да не!... – Лёлька глянул исподлобья. – Ты не понимаешь... – Он поднял было руку к своему носу, но «по дороге» передумал и неожиданно даже для себя ущипнул кузину за грудь.

– На!... – И без того напуганный своим поступком, Лёнька вздрогнул от удара по голове мокрой ветошью. – На, на, н-на!... Ку-зин проклятый!

Когда мокрый Лёнька подлетел к калитке, ему показалось, что петух покрутил крылом около своей плоской головы, показывая дурака. Отдышался Лёнька только на улице. Вздохнул, вытерся рукавом и уже занёс вперёд костыли, чтобы прыгать к дому, но впереди выросла всем своим мощным рельефом Империя. Тем самым пути к роману Флобера «Воспитание чувств», который лежал на раскладушке и нагрелся на солнцепёке, как кирпич хлеба из печки, был отрезан. Отступить пришлось спешно к сельмагу и там затесаться в очередь за портвейном...